

М. Ю. САВЕЛЬЕВА

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЫШЛЕНИЯ Н. В. ГОГОЛЯ

Миф личности (исходные установки)

Н. В. Гоголь является одним из тех мастеров, которые не только создают в литературе неповторимый художественный мир, но и обладают редким даром оставлять на нем отпечаток собственного присутствия, врастать в него непосредственным отношением и стихийно становиться его частью или же полностью с ним сливаться. Однако в силу исключительной сюжетной, стилистической и ментальной самобытности крайне сложно формировать последовательную, рациональную и приемлемую для всех позицию в отношении творчества и частной жизни Гоголя. Этому препятствует мифологическая «аура» личности писателя, затягивающая в себя любого, кто знакомится с его произведениями, и властно теснящая (хотя и не вытесняющая) рациональное осмысление. Сущность мифа как состояния буквального (словесно, буквенным образом проявленного) и абсолютного тождества мира, человека и мышления проявляется в постоянном неосознаваемом взаимном переходе, подмене и отождествлении смысловых связей. Предметы и обстоятельства жизни и творчества писателя (содержание) неотличимы от его собственного отношения к ним и отношения современников и потомков (формы). Вследствие этого реальность становится равнозначной кажимости, а действительность — фантазии или иллюзии. Кроме того, проявляясь в опыте мышления писателя, миф выражается как тождество изреченного и неизреченного, мысли и чувства.

* * *

Мифологический характер формы мышления Гоголя проявляется прежде всего в амбивалентном отношении его к самому себе

и своему мышлению. Он постоянно воспринимал себя как будто со стороны, смотря глазами внешнего наблюдателя, как будто впервые, — знакомился с самим собой. И, соответственно, видел себя другим:

— *Не добропорядочным, но греховным.* Это результат психологической травмы, полученной в детстве во время приступа так называемой детской жестокости, когда маленький Никоша утопил в пруду кошку. После этого писатель, стараясь вести добродетельную жизнь, так и не смог избавиться от комплекса вины, по его собственным словам, «как будто он убил человека».

— *Не незаметным обывателем, но духовным вождем, но-сителем апостольского учения.* Испытывая неудержимое любопытство и тягу ко всему демоническому, Николай Васильевич тем не менее серьезно и глубоко изучал Священное Писание и даже пытался создать собственную концепцию-интерпретацию христианства.

— *Не окруженным друзьями и почитателями, но изгоем.* Несмотря на то, что уже самые первые его произведения снискали признание российского читателя, Гоголь очень болезненно воспринимал малейшую критику и считал, что публика далека от истинного понимания его идей.

— *Не сложившимся и самобытным писателем, а «тенью гения».* Самолюбивая натура Гоголя нуждалась в наставнике, — но гениальном наставнике. Поэтому сотворение кумира не должно удивлять. Кем для Ломоносова был Петр, тем для Гоголя стал Пушкин. К слову, между первым русским академиком и писателем из Малороссии можно найти немало смысловых параллелей, особенно в том, что касалось творческой и гражданской самооценки.¹ Узнав о трагической кончине Пушкина, Гоголь писал друзьям: «Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики; мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Всё, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал,

¹ Подробно об этом см.: Манн Ю. В. Творчество Гоголя: Смысл и форма. СПб., 2007. С. 534—554.

и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моё высшее и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! что труд мой? Что теперь жизнь моя?»² Парадоксальное сочетание высокопарности стиля и искренне смиренной восторженности содержания! Множественное повторение личных местоимений бросается в глаза и режет слух. Но все же не настолько раздражает, чтобы вовсе отталкивать... Возможно, потому что так Гоголь сумелнейтрализовать обостренную противоречивость своих слов и добиться почти полного тождества позитивности и негативности впечатления от смыслов. Многочисленные гиперболы, которыми наполнены горестные слова писателя — свидетельства той почти детской непосредственности, с которой Гоголь действительно относился к Пушкину — и как человеку, и как творцу. Прихотливые словесные обороты сливались в его отношении с действительными чувствами, отчего впечатление становилось особенно сильным. Когда Гоголь *утверждал*, что Пушкин сотворил его как писателя и что его личная трагедия намного больше, чем трагедия любого из российских граждан или просто духовно одаренных и образованных людей, он *действительно так думал, и в какой-то мере это на самом деле было так*. Не обращая внимания на необходимость сдерживаться на людях, открыто демонстрируя свои чувства, он нисколько не лицемерил, хотя со стороны это и выглядело несколько выспренно. И если бы не было так трагично по содержанию, то и гротескно по форме. Но таков уж был Гоголь: смех его — по-детски заливистый и светлый, и скорбь — безудержная и навзрыд. Ни у кого не прося позволения, он присвоил привилегию прилюдно говорить о сокровенном, — о чем многие думали, но боялись со-заться вслух. И эта нескромность, конечно же, вызвала бы волну ostrакизма со стороны общественного мнения и погубила бы его гораздо раньше, если бы он сам, добровольно, не признал раз и на-всегда авторитет Пушкина над собой.

— *Не малороссом, но русским*. Это представление особенно красноречиво, поскольку еще и абсурдно. Не являясь в действи-

² Гоголь Н. В. Письмо М. П. Погодину, 30 марта (н. ст.) 1837 г. // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 1952. Т. 11: Письма, 1836—1841. С. 91. Далее сокращенно: Гоголь; в скобках указываются том и страница.

тельности русским, Гоголь мог вообразить себя лишь «другим русским»; однако все же «другим русским», так как, являясь славянином и россиянином, искренне не желал видеть себя малороссом.³ Поэтому и западники, и славянофилы в равной мере воспринимали его как «своего среди чужих и чужого среди своих». Неоднозначность восприятия национальной и культурной принадлежности писателя усугублялась и его собственными размышлениями: «...сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошлого быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характера, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».⁴

* * *

Мифологический характер содержания мышления Гоголя также выражается в смысловых подменах и проливает свет на формирование сюжетов его произведений. Отношение к миру одновременно как устойчивому и тождественному самому себе, но изменчивому в отношении к человеку (форма) стимулировало поиски другого места или другого мира; при этом любовь к прежнему месту и миру сохранялась (содержание). Иными словами, временные связи (отношение к прошлому, прежде всего отечественному) вытеснялись пространственными (отношение к вечному, в особенности эстетическому и религиозному опыту).⁵

³ Можно предположить, что, будь Гоголь этническим русским, все равно был бы «другим», поскольку не стал бы связывать свою жизнь только с Россией. Похожие опыты пережили, скажем, И. С. Тургенев и А. И. Герцен (последний, впрочем, не по своей воле).

⁴ Гоголь Н. В. Письмо А. О. Смирновой. {24 декабря н. ст. 1844 г.} // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. Т. 12: Переписка. 1842—1844. М.; Киев, 2009. С. 559.

⁵ Надо признать, это было одним из неизбежных проявлений мифа в структуре общественного сознания в России начиная с эпохи Петра: император стремился буквально сблизить Россию с Западом, не видя различий между временем и пространством. Пренебрежение вековыми традициями ради успешного решения насущных проблем сочеталось с географическим продвижением на Запад. Позднее Елизавета и Екатерина

Формированию мифологического мироотношения в немалой степени способствовала и атмосфера Петербурга, куда он стремился с юности. Мифология северной столицы не могла не быть ему близкой: город воспринимал себя и воспринимался со стороны как «культурное недоразумение», — видел себя глазами Европы (как Азию) или Москвы (как Европу), но только не собственными.⁶ Петербург изначально был отчужденно автономен, не сливааясь с общим российским контекстом; он — такой же «другой русский», как и Гоголь. Приехав туда, писатель это сразу почувствовал. Но и чувства его были непоследовательны, амбивалентны: с одной стороны, закономерны и долгожданы — отсюда и любовь к Петербургу как столице России; с другой — неестественны и безосновательны, как ко всему незнакомому и чужому, и оттого обжигающие нестерпимо; отсюда и желание бежать куда-нибудь — хоть за границу, но только подальше от России и «малой родины». Скорее всего, это объясняется тем, что Гоголь переместился из замкнутого, уютного *locus'a* родительского поместья с его заботой о бытовом и душевном комфорте на открытое, продуваемое ветрами всех соблазнов, неласковое пространство северного города. И это пробудило в нем страсть к приключениям, но в то же время нанесло непоправимую травму. Он понимал, что такая смена состояний жизненно необходима ему как писателю. Но как человек переживал ее тяжело и мучительно. Для него мера, граница, предел с детства были естественными, определяющими степень рациональности мышления, но одновременно и затрудняющими творческий процесс. Личная его драма состояла в том, что на относительно свободном от традиций петербургском пространстве с бесконечным выбором путей его мышление также не находило удовлетворения, теряло ориентиры и самоконтроль и вбирало в себя чужой *рациональный опыт*, воспринимая его как другой — иррациональный и опасный. Поэтому восприятие чужой социокультурной действительности рождало у писателя непредсказуемые, зловещие образы.

столь же прямолинейно пытались реализовать встречную политику приближения Запада к России, — и географически (позволив иностранным предпринимателям и ученым массово переселяться на территорию Империи), и идеологически (пропагандируя российскую культуру и пытаясь сделать российскую историю предметом научных исследований в Европе).

⁶ См.: Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 2. С. 14—15.

Вот почему в его отношении к окружающей действительности сквозила та же амбивалентность. Будучи выходцем из едва ли не самого «старого» из всех старосоветских уголков Российской империи, Гоголь одним из первых заметил, насколько, при всей слаженности и крепкой сбитости, его мир был уязвим. И это неудивительно: там, где есть патриархальный, «гнездовой» образ жизни, можно пребывать только в абсолютном единстве с ним и собой или не быть вовсе. Как только выпадает один малый кирпичик, рушится все здание, как будто оно возникло на песке или в воздухе: покидает мир Пульхерия Ивановна, следом за ней угасает и Афанасий Иванович. И не потому, что любит ее, — любовь не приводит к смерти. Но жизнь до этого текла слишком естественно, как будто по инерции — плавно, неосознанно и как будто даже безучастно. И только с приходом смерти обретается смысл — негативный, разрушительный, безжалостный смысл утраты единственной связи, державшей на себе все.

Ничего подобного не могло случиться в Петербурге. Там житье мучительно, одиноко и заброшено. Однако же обросло множеством связей, вещей, ситуаций, обстоятельств. Они, как паутина, опутывают людей, не давая им упасть и расшибиться насмерть. Человек может бесконечно долго влакивать жалкую полужизнь душевного калеки, но не умирать вовсе, выживая и переживая многих вполне здоровых духом и телом «старосоветцев». Это как прививка ядом: жизнь от этого нестерпимее, но тем упорнее сопротивление. Этим Петербург привлекал и страшил Гоголя. Игра со смертью, как и игра со скучой (а жить на этом свете Гоголю явно было скучно) дома не удавалась, и он ехал за этим на Север, но и там не мог найти того, что искал... Этим же объясняется необузданное стремление покинуть горячо любимую Россию, по крайней мере на то время, пока о ней писалось на страницах «Мертвых душ»: «...Нынешнее мое удаление из отечества, оно послано свыше, тем же великим провидением, ниспославшим всё на воспитание мое. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни. Знаю, что мне много встретится неприятного, что я буду терпеть и недостаток и бедность, но ни за что в свете не возвращусь скоро. Долее, долее, как можно более буду в чужой земле. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой будет удален от нее».⁷

⁷ Гоголь Н. В. Письмо В. А. Жуковскому, 16 (28) июня 1836 г. // Гоголь. Т. 11. С. 49.

Привязанность к родине была прямо-таки физиологической, — настолько неуемной, что в борьбе с ней писатель добровольно обрекал себя на изгнание. Любить родину на чужбине было не то чтобы гораздо легче, но приятнее, — и не было в том никакого лицемерия. В тишине зарубежья, «ласковой чужбины», ему приятнее было размышлять о родине, хотя и нельзя сказать, что проще. Он зачастую просто не в состоянии был творить на ее территории. Слишком эмоционально воспринимал ее. Нужна была дистанция, чтобы по-настоящему осмыслить ее. Любовь к Родине, испытываемая Гоголем, была настолько безмерной, что, живи он в России, наверняка сошел бы с ума гораздо раньше. Только географическая удаленность могла на какое-то время смягчать это гипертрофированное отношение и остуживать огонь чувств: «...уже в самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во всей своей громаде. А здесь я погиб и смешался в ряду с другими. Открытого горизонта нет предо мною».⁸ В другом месте — еще более резко: «Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве мое перо принялось описывать предметы, могучие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Не преодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный. В чужой земле я готов все перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдет до этого дела. Но в своей — никогда».⁹

Оттого с такой танцующей легкостью он передавал свои ощущения от заграничной повседневности: «Осень в Вене наконец стала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за Мертвых душ, которых было начал в Петербурге. Всё начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь

⁸ Гоголь Н. В. Письмо П. А. Плетневу, 17 марта 1842 г. // Там же. Т. 12: Письма, 1842—1845. С. 46.

⁹ Гоголь Н. В. Письмо М. П. Погодину, 30 марта (н. ст.) 1837 г. // Там же. Т. 11. С. 92.

веду его спокойно, как летопись».¹⁰ А вот так он чувствовал себя, впервые приехав в Рим: «Я знал только, что еду вовсе не за тем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы *напрепеться* (выделено мной — М. С.), точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее».¹¹

Это было самое что ни есть мифологическое отношение, в котором все смысловые связи меняются местами и все не таково, каким кажется. Гоголь всем сердцем любил Россию, но не мог жить в ней подолгу, чувствуя глубокое отвращение к сложившимся там общественным и межличностным отношениям. Только за рубежом, в Италии, он мог ненадолго примиряться с собой: любовь к русской душе оформилась только там, только оттуда он сумел разглядеть и понять эту душу, — отделив ее от реальности, смог почувствовать себя россиянином. И потому — парадокс! — никак не желал уезжать из Италии; она — хранительница его отношения к миру: «О Рим, Рим! О Италия! Чья рука вырвет меня отсюда!»¹²

* * *

Мифологический характер сочетания формы и содержания гоголевского мышления неизбежно должен был проявляться в их непосредственном *тождестве*, основанием которого являлось *тождество мышления и бытия*. Причем тождество это отнюдь не в гегелевском значении — как абсолютная диалектика, а в значении, используемом А. Ф. Лосевым — как *абсолютная мифология*. Это тождество мышления писателя с его личностью, самостью, — тождество себя как живущего в реальном мире и мира, созданного силой собственного воображения.

Этим, видимо, объясняется демонстративное нежелание писателя замечать какие-то общепринятые и значимые вещи. Гоголь

¹⁰ Гоголь Н. В. Письмо В. А. Жуковскому, 12 ноября (н. ст.) 1836 г. // Там же. Т. 11. С. 73.

¹¹ Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь // Овсянико-Куликовский Д. Н. Собр. соч. Изд. 4-е, доп. СПб., 1912. С. 126. На этом основании многие исследователи делают вывод о якобы «нелюбви» Гоголя к России (см. например: Bojanowska E. M. Nikolai Gogol: Between Ukrainian and Russian Nationalism. Harvard University Press; Cambridge, Mass.; London, 2007).

¹² Гоголь Н. В. Письмо Г. П. Данилевскому, 2 февраля 1838 г. // Гоголь. Т. 11. С. 130.

как мыслитель вызывал удивление у многих исследователей тем, что мало или даже вовсе не интересовался состоянием духовной культуры прошлого и настоящего. Одним из первых обратил на это внимание и не смог с этим смириться российский литературовед XIX—XX вв. Д. Н. Овсянко-Куликовский: «Чтобы гениальный поэт и человек с таким большим, глубоким и тонким умом, как Гоголь, мог духовно существовать и творить вне умственной жизни века, вне духовного общения, без умственной пищи, как хлеб на-сущный, необходимой всяческому мыслящему уму, — это нечто почти невероятное, это — настоящая психологическая загадка. (...) чем больше и оригинальнее ум, тем больше берет он от других умов».¹³ Исследователь полагал, что писатель был отличным мыслителем, но ленивым «учеником»,¹⁴ пенял Гоголю за то, что тот совершенно был чужд знанию всемирного опыта научно-философской мысли.¹⁵

Конечно, это мнение во многом преувеличено: Гоголь отнюдь не чурался мировой мудрости. Пребывая за рубежом, в письмах друзьям интенсивно обменивался мнениями о культуре и искусстве Италии, Германии, Швейцарии и чутко прислушивался к советам собеседников; самостоятельно изучал историю итальянской архитектуры. Особенность его как «ученика» была в том, что он подходил к вопросу самообразования строго избирательно, иногда сознательно игнорируя целые культурные пласти, что было крайне нетипично в условиях господства принципа «единства мира» и культа знания как самоценности. Этим отчасти частично объясняется отчужденное отношение Гоголя к исторической науке. Мифологическое мышление не разделяет время на части, не различает в нем процессуальности прошлого, настоящего и будущего. И Гоголь подтверждал это: «У меня не было влеченья к прошедшему».¹⁶ Поэтому, когда ему предложили возглавить кафедру русской истории в Киевском университете Св. Владимира, он не просто отказался от нее, а отмахнулся как черт от ладана. В письме к М. А. Максимовичу он называл тому причину, — вполне рациональную и даже объективную: «...они воображают, что различие предметов это такая маловажность и что, кто читал словесность, тому весьма легко преподавать математику или врачебную науку; как будто пирожник

¹³ Овсянко-Куликовский Д. Н. Гоголь. С. 71.

¹⁴ Там же. С. 80.

¹⁵ См.: Там же. С. 84.

¹⁶ Гоголь Н. В. *⟨Авторская исповедь⟩ // Гоголь. Т. 8: Статьи. С. 449.*

для того создан, чтобы тачать сапоги».¹⁷ Однако это было лишь половиной правды. Истинная же причина прорывалась между строками в других местах: «Если меня не будет занимать предмет мой, тогда я буду несчастлив. Я очень хорошо знаю свое сердце, и потому то, что для другого кажется своенравием, то есть у меня следствие дальновидности».¹⁸

Поясняя мысль Гоголя, можно предположить, что писателю важно было иметь не только знания, но знания в единстве с *впечатлениями*, придающими выразительность и выводящими читателя из состояния спокойствия и равновесия. Прошлое казалось ему малоизвестным и не давало такого впечатления, потому он страшился утонуть в нем, оказаться в пленау времени, утратить ми-ровоззренческие ориентиры, навсегда оторвавшись от настоящего. И оттого искал такое убежище, такое социальное пространство, где время было бы не властно над ним, где господствовало бы «вечное настоящее». В реальной жизни это была Италия; в духовных исканиях он отдавал предпочтение не строгости исторических документов, а народным песням и думам, не делая различий между научными и эстетическими ценностями: «Я не распространяюсь о важности народных песен. Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была деятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтического, и он при всей многосторонности её не получил высшей цивилизации, то весь пыл, всё сильное, юное бытие его выливается в народных песнях. (...) Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции: в этом отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселей изображаемого народа, когда захочет выпытать дух минувшего века, общий характер всего целого и порознь каждого частного, тогда он будет удовлетворен вполне; история народа разоблачится перед ним в ясном величии».¹⁹ Поэтому вряд ли можно говорить о профессиональном исследовании истории Гоголем; скорее, это были

¹⁷ Гоголь Н. В. Письмо М. А. Максимовичу, 28 мая 1834 г. // Там же. Т. 10: Письма, 1820—1835. С. 319.

¹⁸ Гоголь Н. В. Письмо М. А. Максимовичу, 10 июня 1834 г. // Там же. С. 323.

¹⁹ Гоголь Н. В. О малороссийских песнях // Там же. Т. 8. С. 90, 91.

попытки обнаружить следы собственной, личной истории среди истории своего народа, выявить мифологическую оболочку истории.

Таким образом, создавалось впечатление, что писателю, и в самом деле, как будто было достаточно самого себя, собственного мира. У него совершенно не обнаруживалось тяги следовать модным и популярным мировоззренческим тенденциям. Его мысль была, можно сказать, «эгоистичной», во всем видя по преимуществу самое себя. Овсянико-Куликовский называл это «избытком самоанализа» или «эгоцентризмом сознания»,²⁰ чрезмерностью рефлексии: «...невольно, сам не отдавая себе отчета в том, Гоголь становился в своих отношениях к окружающей среде, к людям, к жизни, на точку зрения, выражаемую в формуле: „я и всё прочее“. И вот именно „всё прочее“ отражалось в его душе не само по себе, а через посредство настроений его „я“, которое навязчиво и неотступно сопутствовало всякому впечатлению, всякому душевному движению».²¹ Это мнение справедливо только отчасти; точнее будет сказать, что писатель воспринимал собственное Я равным миру, а мир — непосредственно равным собственному Я. Но, как было сказано несколько позже и в другом месте, «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя».²² То же случилось с Гоголем. Правда, стремиться к этому можно по-разному. Российский литературовед, как рационалист, избрал «критику справа» и потому пришел к негативной оценке состояния внутреннего мира Гоголя: «Ибо и темно, и тревожно в душе человеческой, и взор, прикованный к ее микрокосму, смотрит в темноту и по необходимости становится играющим всего, что там залежалось, что там глухо бродит, что прячется, — разных более или менее допотопных понятий, спящих в бессознательной сфере духа, различных иллюзий сознания и тайных самообманов чувств, имеющих свой смысл и свою душевную правду, пока они скрыты, и становящихся ложью, когда обнаружены».²³

Впрочем, на все есть свои причины. Если углубиться в переписку Гоголя, становится ясно, что он не только старался противо-

²⁰ См.: Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь. С. 110.

²¹ Там же. С. 113.

²² Ницше Ф. В. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего, 4, 146 / Пер. Н. Полилова // Ницше Ф. В. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 301.

²³ Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь. С. 111.

поставить собственное мнение общественному, но стремился быть внимательным к самому себе, оценивать точно свои умственные способности и сопоставлять их с чужими духовными опытами: «...никто не знал, для чего я производил переделки моих прежних пьес, тогда как я производил их, основываясь на разумении самого себя, на устройстве головы своей».²⁴ Эти слова вызывают весьма неоднозначное впечатление: в них, с одной стороны, — полнейшее отсутствие сомнений и уверенность в собственной правоте, с другой — жажда нести ответственность за результаты своей деятельности. Как видим, Гоголь нисколько не боялся прослыть самоуверенным индивидуалистом, напротив, — всячески гордился этой своей особенностью, многократно подчеркивал и разъяснял ее. Этот ригоризм хорошо виден в письме к П. В. Анненкову: писатель считал, что, даже находясь в гуще общественных событий, «нужно иметь свой собственный уголок, в который можно было *бы* на время уходить от всего. Нельзя, чтобы каждый из нас не получил на долю свою какой-нибудь способности, ему принаследлежащей... Иначе мы бы все походили друг на друга, как две капли воды, и весь мир был бы одна мануфактурная машина».²⁵ Этой способностью, как каменной стеной, Гоголь пытался отгородиться от остального пространства; внутри него нет рационализма или pragmatизма, есть только чудесное, романтическое или комическое — но в любом случае очень непосредственное и образно-наглядное. Этим «собственным уголком», куда писатель прятался при каждом случае, был его личный внутренний мир. И это было понятно: не имея возможности переделать под себя объективные условия, но и не желая отказаться от них совсем, он непрестанно жаждал создавать вокруг себя новую среду и делал это независимо от местопребывания.

Однако вот что любопытно и даже парадоксально: при постоянном сосредоточении Гоголя на себе в его художественных произведениях отсутствуют авторские размышления в привычном понимании, выражющие личное отношение к окружающему миру. Они, если и есть, то только в отношении автора к самому себе — как вопрошания, внезапные вспышки рефлексии, выглядящие искус-

²⁴ Гоголь Н. В. Письмо С. П. Шевыреву, 28 февраля н. ст. 1843 г. // Гоголь. Т. 12. С. 143 (курсив мой. — М. С.).

²⁵ Гоголь Н. В. Письмо П. В. Анненкову, 7 сентября н. ст. 1847 г. // Гоголь. Т. 13: Письма, 1846—1847. С. 384.

ственno и неуместно, ибо нарушают целостность восприятия сюжета.²⁶ Вероятно, это тоже моменты проявления мифологичности его творчества. У Гоголя рефлексией наполнен весь сюжет — до малейших подробностей. У него все насыщено мыслью: рефлектируют вещи, ситуации, герои — особенно в состоянии страха или восторга, когда, казалось бы, замирает всякая мысль. Однако эта рефлексия выливается не в слова, а в поступки, реальные действия, так как писатель не задумывался над степенью объективности языковых средств выражения мыслей. В отличие от произведений, скажем, Достоевского, где очень много слов и мало движения, все сосредоточено на работе мысли, в произведениях Гоголя все переполнено движением. Местами даже каким-то суетливым движением, бесцельным или самоцельным. Но в любом случае — цельным, самодостаточным. Мир, изображенный Гоголем, не нуждается в особо высказанном и осмысленном во времени человеческом слове, так как привык высказываться иначе, — «сам». И человеку, конечно же, страшно оттого, что он не успевает ухватить брошенное миром слово и вовремя отреагировать на него. Однако этот загадочный мир почему-то не спешит тут же наказывать человека, и тот все же успевает приоровиться...

Миф как основание гражданской и национальной самоидентичности

Одна из причин неослабевающего интереса отечественного и мирового читателя к творчеству Гоголя — уникальный и в целом удачный опыт встраивания в российский ментальный контекст, с которым он изначально совпадал лишь частично и по необходимости — как подданный Империи. Это тот редкий случай, когда интерес к произведениям писателя может усиливаться интересом к нему как личности и гражданину. Поэтому, видимо, вопрос о культурном (само)определении Гоголя-писателя еще долго будет оставаться полем столкновения различных научно-исследовательских и идеологических позиций. Впрочем, это вовсе не означает, что судьба Гоголя на родине и за рубежом — быть превратно понимаемым либо же становиться безынтересным.²⁷

²⁶ На это есть соответствующие указания исследователей. См.: Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя. Л., 1989. С. 7—8.

²⁷ См. обзорный анализ: Гарин И. И. Гоголь и Запад // Гарин И. И. Загадочный Гоголь. М., 2002. С. 607—613.

Очевидно, главная проблема не в том, чтобы привязывать писателя к какой-то одной, строго определенной, национальной культуре в ущерб другим, а в том, чтобы адекватно понять основание его принадлежности ко всем без исключения культурам, оказавшим влияние на его творческое становление. В рамках этой проблемы можно выделить два взаимосвязанных аспекта. Первый — особенности самоопределения Гоголя как гражданина в широком смысле, как творческого деятеля, наконец, как индивида. Степень объективности исследования зависит при этом от многих обстоятельств. Прежде всего, от глубины понимания основных законов индивидуального становления мировоззрения и выбора методологии их исследования; далее, от меры адекватности интерпретации сочинений и писем писателя; и не в последнюю очередь также от полноты его наследия. Второй — особенности внешнего (оценочного) определения писателя как представителя национальной культуры в границах многонационального имперского государства. И здесь многое зависит от специфики исторического восприятия его творчества, а также от адекватности понимания его произведений в других культурах на языке оригинала и, наконец, от возможностей перевода.²⁸ В зависимости от цели исследования эти аспекты могут представляться как самостоятельные или же взаимно обусловленные проблемы. И понятно почему: с одной стороны, представление Гоголя о самом себе могло и не быть полностью объективным, с другой стороны — любое представление на чем-то основано и, даже будучи необъективным, не может не учитываться при дальнейшем исследовании.

«Молчаливое господство» авторского Я в текстах — непустой звук, не оторванная от содержания форма, не свидетельство

²⁸ О проблемах в этой области см., например: Шолохова А. С. 1) «А что скажут иностранцы?»: Обзор ранних переводов произведений Н. В. Гоголя // Вестник РГГУ. Сер. Литературоведение. Фольклористика. № 9/8. М., 2008. С. 265—272; 2) Антропонимическая система «Вечера на хуторе близ Диканьки» в английских и немецких переводах // Новый филологический вестник. № 2 (9). М., 2009. С. 132—138; 3) «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в английских и немецких переводах: Безэквивалентная лексика // Феномен Гоголя: Материалы Юбилейной междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рожд. Н. В. Гоголя / Под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. СПб., 2011. С. 822—834; 4) Трудности перевода (Повесть Н. В. Гоголя «Шинель» в английских и немецких переводах) // Гоголевский сборник. Вып. 2 (4). СПб.; Самара, 2005. С. 229—235.

безразличия писателя к происходящему в мире. Гоголь не только стремился творчески самоутвердиться; его главная жизненная цель была вполне рациональна и тщательно осознана: он страстно желал служить своему Отечеству, жить исключительно для него. В письме П. П. Косяровскому от 3 октября 1827 г. он писал: «Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне препятят дорогу, что не дадут возможности принесть ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом — быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно».²⁹ Как видим, его чувства были сродни тем, что переполняли российских культурных подвижников эпохи Просвещения; он игнорировал недавно образовавшиеся идейные течения и группировки, инстинктивно понимая ограниченность господствующих в них представлений. И потому «в передовых кругах, как западническом, так и славянофильском, ему было тесно, и он тянулся к государству, не замечая или, может быть, не желая замечать, что там ему сиротливо, пожалуй даже совсем нет места. Не замечал он этого, и ему казалось, будто он, как автор „Ревизора“ и „Мертвых душ“, являясь поэтом национальным, как бы состоит на государственной службе, точно это казенные торжественные оды».³⁰ Очевидно, следует согласиться с мыслью Овсянико-Куликовского, ибо ему удалось вскрыть логические основания такой позиции Гоголя: «Мы видим здесь два целых: государство и национальность, но не усматриваем третьего — общества. За отсутствием или неразличением последнего, общественная стоимость великого поэта могла осуществиться только в первом, и он, подставляя свое национальное тяготение на место общественного, лелеял мечту стать „единицею“ в среде государственной. И чем больше двигался он в своем вдохновенном труде, тем больше укреплялся он в мысли, что делает дело, имеющее государственную важность, во всяком случае такое, которому правительство должно покровительствовать».³¹

²⁹ Гоголь. Т. 10. С. 111.

³⁰ Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь. С. 130.

³¹ Там же. С. 131.

Однако логическими основаниями позиция Гоголя не исчерпывается. Нетрудно понять, что писатель неосознанно пытался перенести миф эпохи Просвещения на идеиную почву XIX в. В этом смысле характер его творчества был очень близок ломоносовскому. Но, в отличие от Ломоносова, чувства Гоголя по разным причинам не были stoическими; писатель из Малороссии безмерно желал не только быть нужным своему Отечеству, но и ожидал, что оно будет любить его такой же неуемною любовью. Видимо, это не было проявлением тщеславия «непонятого гения», но и не было проявлением естественного желания одинокого человека чувствовать себя дома как дома. Это было странное иррациональное отношение к Отечеству как персонифицированному феномену, «коллективному субъекту», от которого Гоголь ждал такого же осознанного отношения. Это отношение лишь отчасти было «европейским», поскольку сознательное и свободное стремление служить Родине дополнялось безотчетным страхом перед государством. Примечательно, что Гоголь не желал бороться с этим страхом, не рассматривал его как помеху собственному творчеству, напротив, — хотел, чтобы именно это государство приняло его и воздало по заслугам. Поэтому сам писатель с неизбежностью взаимно подменял представления о государстве и обществе и тем самым искажал собственную роль как творца в отношении к российской культуре. В этом смысле Овсянико-Куликовский был прав: писатель переносил критерии самооценки совсем в другую сферу. «...Бессознательно, инстинктивно Гоголь (...) „ухватился“ за свое великое национальное значение, как за суррогат общественного значения, — он, смешав национальное с общественным, стал смотреть на свое дело художника как на орудие осуществления своей *общественной стоимости* (курсив мой. — М. С.). Работая над „Мертвыми душами“ и поэтически созерцая Русь из прекрасного далёка, он лелеял мысль, или, скорее, иллюзию, будто тем самым он становится непосредственным участником общественной... жизни своего отечества, входит органическим звеном в ту социальную среду, которую он называл „Русью“ (...). Он хотел чувствовать свой „социальный вес“ в обширном целом, именуемом Русью, он стремился стать единицею в государстве...»³² Все это могло означать лишь одно: Гоголь желал внести лепту в создание мифа России, и ему это, безусловно, удалось.

³² Там же. С. 130.

Однако амбивалентность мировоззренческих представлений Гоголя рикошетом отражалась в его творчестве: осознанно желая стать общественно (а на самом деле государственно) полезным, он любую бытовую, локальную конфликтную ситуацию неосознанно превращал в социальную катастрофу, чем вносил изрядное смятение в умы читателей. Одним из первых уловил у Гоголя эту мифологическую подмену связей Ф. М. Достоевский. С одной стороны, он понял смысл гоголевской сатиры: писатель «из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию»³³ и тем самым показал никчемность индивидуальной жизни россиянина, для которого в других обстоятельствах истинная трагедия может оказаться не более чем утратой шинели... С другой стороны, Достоевский обратил внимание на то, что подлинные противоречия почему-то ускользали от проницательного чутья Гоголя: «Нос», по мнению Федора Михайловича, — вовсе не комическая история, как представлял это сам Николай Васильевич, а нераскрытая трагедия личности, утратившей индивидуальность.³⁴

Несмотря на жесткость, эта критика мировоззрения Гоголя никаким образом не лишена объективности. Если бы писатель, и правда, не был столь демонстративен, рационалистический аспект его мышления был бы более привлекателен. Но в том виде, в каком этот аспект присутствует в творчестве Гоголя, его воспринимают чаще всего как *инаковость* — как проявление психического отклонения, или заблуждение, или игры. То есть как *миф*. Ошибкой Гоголя было то, что безмерность мифологического отношения к миру нельзя демонстрировать непосредственно, буквально, — он же делал это сплошь и рядом. Когда этой безмерностью проникнуты слова о Руси, они невероятно мудры, душевны и поэтичны. Но стоило ему так же надрывно говорить о себе, — и у читателя

³³ Достоевский Ф. М. Ряд статей о русской литературе // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 18. Статьи и заметки. 1845—1861. Л., 1978. С. 59.

³⁴ См. подробно: Бёй А. Л. К вопросу о влиянии Гоголя на Достоевского. Прага, 1928. Таким образом, Гоголь и Достоевский оказываются антиподами: первый получал удовольствие, переводя рационально нестерпимые кошмары в иррациональную форму и тем самым как будто исключая их из жизни. Второй был до занудства рационален в борьбе с раздиравшими его иррациональными импульсами. Но результат воздействия обоих на восприятие читателей одинаков: подмена связей неизбежно приводит к их гипертрофированию и радикальному изменению мировоззренческих представлений.

наверняка должны были возникать досада и неловкость, как будто его заставляли подсматривать в замочную скважину. Об этом весьма проницательно сказал В. В. Розанов: «Вообще замечательна в Гоголе эта особенность, что он все явления и предметы рассматривает не в их действительности, но *в их пределе*: отсюда поэзия его украинских рассказов, вовсе не похожая на простую действительность Малороссии; отсюда его петербургские повести, „Мертвые души“ и „Ревизор“, возводящие обыкновенную серенькую жизнь до предела пошлости. С Гоголя именно начинается в нашем обществе потеря чувства действительности, равно как от него же идет начало и отвращения к ней».³⁵ В самом же творчестве Гоголя почти нет спокойных, уравновешенных повествований. Всё у него наполнено яркими, развернутыми эмоциями, по большей части очень бравурными. Он постоянно находился в состоянии перехода от смеха к слезам, это отметил еще Пушкин. И трудно сказать, чего в этом мировоззрении было больше — ментального или абстрактно духовного, психологического или композиционно-постановочного, сценарного. Безусловно одно: его мышление было крайне неустойчиво, мироотношение непредсказуемо, лишило покоя, а вечное желание отвести от себя подозрение в неспособности довести начатое до конца только утверждало его еще больше...

Видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему творчество Гоголя осталось в истории российской да и мировой культуры опытом грандиозного парадокса: постоянными мировоззренческими перевертывшами писатель разрушал то, что своими же усилиями стремился укрепить, — миф о дивной, уму непостижимой и фееричной России. Смехом своим Гоголь взрывал Россию изнутри, — и при этом смех его отличался не революционным бунтарством русского человека, но умеренной консервативностью малоросса, стремившегося стать полноценным россиянином.

Сам Гоголь вряд ли мог последовательно оценивать степень собственной принадлежности к украинской и русской культурам. Не будучи русским, он испытывал ощутимый душевный дискомфорт от любых ситуаций, в которых как-то могло проявляться

³⁵ Розанов В. В. Пушкин и Гоголь // Розанов В. В. Полн. собр. соч. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. Лит. очерки. О писательстве и писателях / Под общ. ред А. Н. Николюкина. М., 1996. С. 141. Можно сказать, что в творчестве Гоголя представлен российский опыт «переоценки ценностей».

его национальное происхождение. Вряд ли это было проявлением комплекса неполноценности. Нет, он вовсе не стеснялся того, что родился украинцем, но можно согласиться с тем, что «Гоголь, в отличие от Шевченко, не принял романтическую идею нации, дробившую мир».³⁶ И в этом смысле подавал себя как «более русский», нежели любой этнический русский. Поэтому он с таким пietетом относился к имперскому государству — воспринимал его как нечто большее, чем политический феномен, — как феномен общекультурный, позитивный, синтезирующий, помогающий нейтрализовывать национальные различия: «И постепенно „Русь“, объект его художественного творчества, излюбленный предмет его поэтических созерцаний, превращалась для него в государственно-национальную среду, где он стремился стать (...) действующею силою, орудием которой должна была служить моральная проповедь. Этим путем он и думал претворить „непостижимую связь“, которая „таилась“ между ним и Русью, в ту вполне постижимую, осязательную, живую связь личности с целым, которую мы называем осуществлением общественной стоимости человека».³⁷

* * *

Мифосимволическая инаковость отношения Гоголя к самому себе с особой силой выражалась в его творчестве, проявляясь в неповторимой манере изъяснения. Русский язык его произведений — такой же «другой», как и его субъект, о чем написано предостаточно и порой весьма проницательно. Однако большинство исследователей, как правило, озабочены *содержательной* стороной проблемы, разворачивая ее вокруг интерпретации тех или иных выражений,³⁸ либо же особенностей перевода произведений писа-

³⁶ Михед П. Гоголь в контексте русской и украинской культур // Электронный ресурс: http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_18_364.

³⁷ Овсянникова-Куликовский Д. Н. Гоголь. С. 132.

³⁸ Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. Т. 1: Лексика и общие замечания о слове. Киев, 1941; Вайскопф М. Я. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. 2-е изд., испр. и расшир. М., 2002; Гоголь как явление мировой литературы: Сб. ст. по материалам междунар. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня смерти Н. В. Гоголя / Под. ред. Ю. В. Манна. М., 2003; Гарин И. И. Загадочный Гоголь. М., 2002; Гольденберг А. Х. Архетипы в поэтике Н. В. Гоголя. Волгоград, 2007; Гончаров С. А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997; Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959; Иваницкий А. И. Гоголь. Морфология земли и власти. М.,

теля на другие языки.³⁹ Современные исследования, где бы давался обобщенный анализ причин или тем более оснований столь нетипичного словоупотребления и построения фраз, можно перечислить по пальцам.⁴⁰ Между тем в прошлом безусловное предпочтение отдавалось формально-эстетическому подходу в исследованиях: еще Андрей Белый настаивал на том, что творчество Гоголя как будто «перекошено» в сторону формы от содержания.⁴¹ Действительно, лишенное структурного равновесия (но не самой структуры), оно требует повышенного внимания именно к форме, каковой выступает его ни с чем не сравнимый язык. *Форма* творчества является непосредственным выражением его *оснований*; язык Гоголя неавтономен, однако и не пассивно зависит от воли писателя, во многом определяя и сюжеты, и структуру произведений. Поэтому изучение оснований позволило бы, с одной стороны, решить проблему объективности интерпретации и выявить критерии точности перевода; с другой стороны, — обосновать критерий культурной идентичности писателя.

2000; *Мандельштам И. О. О характере гоголевского стиля*. Глава из истории русского литературного языка. Гельсингфорс, 1902; *Маркович В. Петербургские повести Н. В. Гоголя*. Л., 1989; *Машинский С. И. Художественный мир Гоголя*. М., 1971; *Овечкин С. Романтическая риторика и гоголевский стиль // Гоголь как явление мировой литературы*. С. 311—315; *Софронова Л. А. Мифопоэтика раннего Гоголя*. СПб., 2010 и др.

³⁹ *Барабаш Ю. Я. 1) Почва и судьба: Гоголь и украинская литература: у истоков*. М., 1995; 2) *Шотландско-ирландские параллели в гоголеведении украинского зарубежья // Гоголь как явление мировой литературы*. С. 357—365; *Гоголь и мировая литература / Отв. ред. Ю. Манн*. М., 1988; *Дмитриева Е. Е. Н. В. Гоголь в западноевропейском контексте: между языками и культурами*. М., 2011; *Михед П. Творчество Гоголя в свете украинской русистики: о некоторых проблемах изучения // Гоголезнавчі студії*. Ніжин, 2001. Вип. 7. С. 5—14; *Нестеренко О. В. Феномен «насильственного перевода» (на материале англоязычных переводов поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души») // Текст. Книга. Книгоиздание*. 2012. № 2. С. 6—11; *Попов К. Об идиолекте Хлестакова в комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя // Болгарская русистика*. 2010. № 1/2. С. 72—79 и др.

⁴⁰ См.: *Архипова Ю. В. Художественное сознание Н. В. Гоголя и эстетика барокко. Дис... канд. филол. наук*. Екатеринбург, 2004; *Подорога В. А. Мимесис: Материалы по аналитической антропологии литературы*: В 2 т. Т. I: Н. Гоголь; Ф. Достоевский. М., 2006.

⁴¹ См.: *Белый Андрей. Мастерство Гоголя. Исследование*. М.; Л., 1934. С. 7.

Скрупулезный анализ стиля показывает, что Гоголю не было свойственно бессознательное, инстинктивное употребление литературного языка. Он постоянно контролировал свою речь, наблюдал за нею, как будто занимая одновременно две взаимоисключающие позиции — *субъекта языка* и *наблюдателя за собой как субъектом*. Поэтому у него крайне редко встречаются случайные слова, выражения, обороты, — в особенности там и тогда, где и когда они кажутся неуместными, ошибочными, не до конца понятными. Такими, к примеру, являются уже неоднократно отмеченные переводчиками и комментаторами странные, какие-то тяжеловесные выражения в поэме «Мертвые души»: «знать о всех подробностях проезжающего»,⁴² «носовые ноздри»,⁴³ «произвел не большое молчание»⁴⁴ и др. Писатель не просто повествовал, а как будто при этом еще и знакомился с языком и читателя знакомил. Гоголь пробовал язык «на язык», демонстративно подступался к нему, — пытался не просто «узнать» его, а сперва «увидеть» как таковой (В. Б. Шкловский), удивлялся ему, как удивляются чему-то привычному и вдруг оказавшемуся незнакомым при взгляде с неожиданной стороны. Ведь мы чаще всего пользуемся родным языком по наитию, не видя его (т. е. не думая о нем), потому что он нам изначально знаком; мы не бесчувственны по отношению к языку, но зачастую безответственны и обращаем внимание на его устройство только в том случае, если сталкиваемся с чем-то неизвестным. Но писателя, воспринимающего слово не как средство, а как цель, это чувство непонятного сопровождало постоянно. И от этого вполне можно было потерять голову. Кажется, впервые об этом заговорили представители русской формальной школы литературоведения. Жизнь художественного произведения как произведение искусства заключается, помимо всего прочего, в особом способе его передачи, который Шкловский называл «остранением»: это «прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимаемый процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи...»⁴⁵ Иными словами, легкость и непосредственность

⁴² Гоголь Н. В. Мертвые души. Том первый // Гоголь. Т. 6. С. 8.

⁴³ Там же. С. 35.

⁴⁴ Там же. С. 124.

⁴⁵ Шкловский В. Б. Искусство как прием // Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. Пг., 1919. С. 105.

восприятия иногда способна вводить в заблуждение, бессознательное использование языка рано или поздно рождает уверенность в его всесилии и универсальности, в то время как средства языка достаточно ограничены, к тому же безальтернативны. И мгновенное озарение, догадка об этой ограниченности, способно породить иронию — состояние, находясь в котором, автор смотрит на собственную мысль как будто со стороны, как на чужую, случайно попавшую в поле зрения. И потому не возлагает на нее слишком уж больших надежд.

В произведениях Гоголя процесс остранения почти непрерывен — писатель изо всех сил держал язык *формой мысли*. Кажется, что ему трудно было подбирать слова для описания каких-то событий — не только чудесных, но и вполне реальных, даже обыденных. Конечно, рациональные ответы напрашиваются немедленно. Во-первых, писатель вел себя как типичный иноязычный субъект, почти что иностранец, использовавший русский как неродной, хотя и весьма близкий. Во-вторых, ему наверняка хотелось внести дополнительный смысл в некоторые, на первый взгляд, банальные и предсказуемые ситуации. Скажем, чтобы подчеркнуть патологически скупердяйскую натуру Плюшкина, понадобилось ввести грузный оборот «произвести некоторое молчание» как символ того, что любое действие дается персонажу с трудом, — даже молчанием он жалеет поделиться, как будто отрывает его от себя. И с этим вполне можно согласиться, если бы не одно соображение: слишком быстро найденный ответ не всегда оказывается верным, очевидность не всегда истинна, ложь также обладает несокрушимой внутренней логикой...

Частичную разгадку дает изучение богатого опыта современных переводов и интерпретаций. В частности, есть немало примеров того, как «переводчики сохраняют своеобразный язык Гоголя, воспринимая который, даже русскоязычные читатели могут чувствовать себя иностранцами...»⁴⁶ Это позволяет предположить, что, благодаря осознанно или неосознанно введенным лингвистическим и стилистическим приемам, Гогольставил читателей перед

⁴⁶ Нестеренко О. В. Феномен «насильственного перевода» (на материале англоязычных переводов поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души») // Текст. Книга. Книгоиздание. 2012. № 2. С. 7. Речь идет об издании: Gogol N. Dead Souls / Transl. by R. Pevear & L. Volokhonsky. New York; London: Everyman's Library, 1996.

фактом, что никакой язык не является для них настолько «родным», чтобы стать всецело «привычным». Продолжая эту мысль, можно допустить, что писатель стремился внушить читателям, что языки не делятся на «родные» и «неродные», «знакомые» и «не-знакомые», ведь стоит только внести даже малейшее разнообразие, и сразу же начинают чувствовать странность, неподатливость, чуждость языка, пропасть его таинственная и автономная «внутренняя жизнь». Хотя бы раз в жизни, но субъект языка чувствует, что родная и безусловно понятная речь перестает быть способом адекватного отражения, становясь препятствием к пониманию сущности вещей; и происходит это оттого, что язык — «всего лишь» язык (М. Мамардашвили), — он своей физически-предметной, содержательной конечностью не в состоянии исчерпать бесконечности формы сознания. И если носитель языка хотя бы однажды это почувствовал, ему приходится признавать, что нет смысла превозносить «родной» язык над другими только потому, что он стал первым, освоенным в жизни; это весьма относительный критерий истины. Таким образом, следя логике Гоголя, нет смысла отдавать предпочтение ближайшему сообществу над другими только потому, что ощущаешь языковую принадлежность к нему.

Однако тщетно искать в этой установке политический подтекст. Он, конечно же, напрашивается, поэтому следует несколько раз подумать, стоит ли его принимать. Гоголь был не политиком — писателем, тщательно избегавшим каких-либо разбирательств по поводу национальной принадлежности. Для него важно было сохранение эстетического удовольствия от языка, его поэтического, художественного качества, которое не может восприниматься само по себе, без видимых усилий понимания. Преподнося язык как «неродной», как впервые проявленный и услышанный, Гоголь призывал читателей сохранять *уважение, почтение к языку, священное смирение перед ним и восхищение*. А это возможно лишь при определенной метафизической дистанции, которая создается пониманием того, что язык обладает чистой поэтической формой, которую нельзя использовать, лишь постигать. В этом и только в этом понимании произведение «Мертвые души» следует воспринимать как поэму. Чувство формы дано далеко не каждому; поэтому поэзия, даже созданная на родном языке, воспринимается как самодостаточная, необычная и до конца непостижимая и, в общем, *не родная (не свойственная)*. Если же пользоваться языком — поэзия неминуемо скатывается в прозу как бесформенное (Шкловский),

художественное становится обыденным, литературное — прозаическим в худшем из смыслов.

* * *

И наконец, мифологическим символизмом было наполнено отношение Гоголя к русскому языку в целом. Превосходность степени оценки писателем роли русского языка среди других мировых языков напоминает известное мнение Ломоносова: «Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово».⁴⁷ Это дало основание некоторым исследователям отбрасывать «обычное представление о Гоголе — как малороссе в собственном смысле. При малорусском происхождении, он был, по национальности, не малоросс, а общерусс».⁴⁸ Ибо «давно доказано, что художественно творить на языке не родном (...) это психологическая невозможность; на неродном, на искусственно усвоенном языке можно только сочинять, упражняться в слоге, но нельзя поэтически — мыслить...»⁴⁹

Утверждение более чем спорное и коварное, поскольку легко опровергается и подтверждается эмпирическими примерами: шотландец Вальтер Скотт писал по-английски; К. Маркс писал «Ницшею философии» по-французски; дневники и некоторые поэмы Т. Шевченко написаны по-русски. О. Уайльд написал «Саломею» по-французски. На этом же языке написан трактат Вл. С. Соловьева «София».... Список можно продолжать, но в данном случае лексическое пространство и стилистические особенности написанного на «неродном» языке — не предмет обсуждения. Интересно другое: почему, с самого начала избирая для своих произведений национально окрашенные сюжеты, Гоголь «даже и не пробовал

⁴⁷ Гоголь. Т. 6. С. 109.

⁴⁸ Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь. С. 156. Овсянико-Куликовский полагал, что национальность человека определяется не этнической принадлежностью, не происхождением, а «родным языком». Тем, который усваивается с детства от родителей и ближайшего окружения и служит человеку естественным средством выражения его мыслей. Отсюда и его вывод о национальности Гоголя.

⁴⁹ Там же. С. 157.

творить на малорусском языке...»?⁵⁰ Ведь логика требует, чтобы «великий поэт, если бы он был настоящий малоросс по национальности, по языку, с психологической необходимостью должен был бы написать «Вечера на хуторе» прежде всего на своем родном языке».⁵¹ Однако Гоголь безоговорочно отдавал предпочтение русскому, доказательством чего являются его собственные слова: «Дивишься драгоценности *нашего* (по контексту — русского; курсив мой. — М. С.) языка: что ни звук, то и подарок; всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное название драгоценнее самой вещи».⁵²

Впрочем, не стоит также забывать, что Гоголь нигде не называл себя «русским» и вообще не обозначал свою национальность. Видимо, потому что не рассматривал национальную принадлежность как проблему. Лишь говорил о необходимости изучения русского языка и о том, чтобы сделать его едва ли не единственным для всех славян: «Нам (...) надо писать по-русски (...) надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня — язык Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан».⁵³ Конечно, его позиция не отличалась научной обоснованностью и до сих пор вызывает множество вопросов. Почему, скажем, писатель, ставшийся быть толерантным, чуть ли не космополитом, превозносил русский язык над другими? Возможно, потому, что считал его лексически и структурно более богатым: в нем много интернационализмов и архаизмов, переиначенных на славянский лад греческих, немецких и французских слов. Однако сходные черты можно отыскать и в других языках. Возможно, Гоголь соглашался с тем обстоятельством, что русская культура была одной из немногих, где особенности становления языка напрямую отражали особенности ее политического становления. Иными словами, имперские тенденции к объединению различных народов находили выражение в языке в развитии приемов абстрагирования и обобщения. По мнению Гоголя, это как нельзя лучше способствовало усвоению русского языка.

⁵⁰ Там же. С. 160.

⁵¹ Там же. С. 163.

⁵² Гоголь Н. В. Предметы для лирического поэта в нынешнее время: (Два письма к Н. М. Я....у) // Гоголь. Т. 8. С. 279.

⁵³ Цит. по: Исторический вестник. 1881. № 12. С. 479.

ка в других культурах и утверждению его как межнационального способа общения.

В этом понимании Д. Н. Овсянико-Куликовский был не так уж не прав. Он совершенно справедливо говорил о том, что русская культура с определенного времени интенсивно трансформировалась в «общерусскую» (то есть российскую, политически ориентированную), обогащаясь культурными опытами народов, входящих в состав Российской империи, но принадлежащих не только славянскому этносу. «Суть дела в том, что силою психологического синтеза национальных черт образовалась особая — общерусская — национальная форма, существование и дальнейшее развитие которой вовсе не предполагает фактического „слияния“ данных национальностей, т. е. прекращения этнического бытия великоруссов, с одной стороны, малоруссов — с другой. Это прекращение означало бы, что иссякли „родники“, и привело бы к оскудению самой общерусской „души“, черпающей свои силы из тех родников».⁵⁴ И «одним из самых богатых вкладов в общерусскую национальность со стороны малорусской был Гоголь, или, лучше сказать, он был типичным и ярким представителем этого явления, частным случаем огромной важности в этом историческом процессе — образования общерусской национальности при особенно активном участии малорусской».⁵⁵

Это означает, что *действительная, продуктивная* культурная ассимиляция возможна лишь как *всеобъемлющее и объединяющее* явление — и для личности, и для культуры, в которую эта личность вписывается. Только в процессе комплексного встраивания в культурный контекст можно помочь личности свести к минимуму *ущемление* ее национального и культурно-исторического достоинства и совокупными усилиями сформировать *самостоятельную, более масштабную* культуру. В частности, такую, какой была имперская российская культура. Хотя в основе российской культуры превалировали великорусское мировоззрение и великорусский язык, но без вклада других, не только славянских, культур создаваемое явление не могло выполнять функций общерусской культуры и не могло по-настоящему объединять своих субъектов. Об этом красноречиво свидетельствует термин «общерусский».

⁵⁴ Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь. С. 164.

⁵⁵ Там же. С. 161.

Вот почему, несмотря на то, что Гоголь обращался и к украинским, и к русским сюжетам, в его текстах не чувствуется (и, видимо, на самом деле нет) национального «раздвоения личности». Напротив: он являл собой уникальный пример личностно воплощенного «синтеза культур». И это делало его открытым и для европейской культуры, в чем он неоднократно признавался: «И прежде и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я был убежден всегда, что если, при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустишь из виду свои русские начала, то знанья эти не принесут добра, сбоят, спутают и разбросают мысли, наместо того, чтобы сосредоточить и собрать их. И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу, и что только с помощью этого знанья *(можно)* почувствовать, что именно следует нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит. Мне казалось всегда, что прежде, чем вводить что-либо новое, нужно не как-нибудь, но в корне узнать старое; иначе применение самого благодетельнейшего открытия не будет успешно. С этой целью я и заговорил преимущественно о старом».⁵⁶ Тем самым Гоголь отнюдь не наивно и весьма бескомпромиссно показал, что *нельзя любить одно за счет другого*. Любовь к России потому и была в нем столь искренней, что уравновешивалась любовью к Украине; на этом же основании формировалась и любовь к Италии.

Идея политического и социокультурного единства украинского и русского народов у Гоголя проходит красной нитью и в набросках по истории Малороссии. Как уже говорилось, Гоголь в прошлом чувствовал себя неуютно, историю не любил и рассматривал ее не как цель, а лишь как средство подтверждения своей гражданской позиции. По его мнению, после того как украинский народ сформировался в самостоятельную общность с самобытным политическим устройством и прошел стадию освободительной борьбы с поляками, он объединился с Россией, в результате чего для него настал период продуктивного спокойствия. Главная мысль писателя состояла в том, что процесс национального формирования не имеет обратного направления; в этом смысле украинскому народу нечего опасаться объединения с русским народом. Наоборот, в результате такого объединения «исчезло воинственное бытие его и превраща-

⁵⁶ Гоголь Н. В. *⟨Авторская исповедь⟩* // Гоголь. Т. 8. С. 436.

лось в земледельческое (...) мало-помалу вся страна получила новые, взамен прежних, права и, наконец, совершенно слилась в одно с Россиею».⁵⁷ Заглядывая еще дальше в прошлое, во времена Киевской Руси, писатель отмечал, что именно феодальная раздробленность славян стала причиной их трехсотлетней зависимости от татар: «Это нашествие наложило на Россию двухвековое рабство и скрыло ее от Европы. Было ли оно спасением для нее, сберегши ее для независимости, потому что удельные князья не сохранили бы ее от литовских завоевателей, или оно было наказанием за те беспрерывные браны: как бы то ни было, но это страшное событие произвело великие следствия: оно наложило иго на северные и средние русские княжения, но дало между тем происхождение новому славянскому поколению в южной России...»⁵⁸

Таким образом, гражданское отношение писателя к вопросам отечественной истории заслуживает самого пристального внимания. Писатель отстаивал идею о том, что состояние политической раздробленности является переходным и неокончательным для любого народа, поскольку приводит к культурному разобщению и взаимному ослаблению. Целью же исторического развития всегда выступает *культурное объединение* этнически родственных народов, а одним из наиболее верных *средств реализации* этой цели — их *политическое объединение*, так как оно позволяет сохранить их взаимную культурную автономию.

Мифологическое основание творчества (от Гоголя к Достоевскому)

О тесных идейных и стилистических связях творчества Гоголя и Достоевского говорится с тех самых пор, как Некрасов назвал Федора Михайловича «новым Гоголем», и до сегодняшнего дня написано достаточно и подробно.⁵⁹ Однако среди многочисленных

⁵⁷ Северная пчела. 1834. 30 янв. № 24. С. 1.

⁵⁸ Гоголь Н. В. Взгляд на составление Малороссии // Гоголь. Т. 8. С. 42.

⁵⁹ Белый Андрей. Мастерство Гоголя. С. 285—291 (Гл. пятая. Гоголь в XIX и XX веке); Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 161—210; Виноградов В. В. Эволюция русского натурализма // Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. Избранные труды. М., 1976. С. 4—190; Карасев Л. В. О символах Достоевского // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 90—111; Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995; Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь (к теории паро-

исследований найдутся немногие, авторы которых сделали центром внимания сходность трактовки обоими писателями оснований своего творчества. Между тем всестороннее исследование этой проблемы могло бы приоткрыть завесу над некоторыми скрытыми или неявными импульсами и вполне рациональными соображениями, безусловно, оставившими отпечаток на творческой манере каждого из писателей. В частности, их переписка и свидетельства современников красноречиво свидетельствуют, что оба творили не столько для собственного удовольствия, не столько ради реализации жизненного призыва и, в конце концов, даже не столько «во славу Отечества» (как всю жизнь мечтал Гоголь). То были опыты чудовищной духовной провокации и вызова, своеобразной метафизической игры в смерть духа, борьбы со спокойной жизнью за мучительное выживание. Вот почему, несмотря на очевидные личностные и творческие несовпадения, идея творческого гения воплощалась для обоих писателей одинаково — в переданном художественными средствами религиозно-мифологическом образе *черта*. Для понимания причин и особенностей столь эпатажного представления о природе творчества следует помнить, что единственным и предельным его основанием для обоих было не какое-то внутреннее, духовное родство или сходные переживания сходных обстоятельств жизни, а совершенно внешнее обстоятельство: предметно воплощенное, наполненное рукотворным смыслом (то есть тоже мифологическое) пространство — *Петербург*.

Именно в северной столице впервые с размахом, на государственном уровне, проявилась специфическая и не до конца понятная со стороны (творческая?) склонность русского человека — не усидеть на месте, все перетряхнуть, как будто безосновательно изменить и посмотреть, что же из этого получится. Так сказать, «пойдя туда, не зная куда, искать то, не зная что». Сам Петербург был таким грандиозным экспериментом надежды, демонстрацией «государственного чутья» царя-основателя, который всю жизнь стремился оставаться самим собой и в то же время быть кем-то еще, непременно другим — «господином бомбардиром», «Великим шкипером» и проч. Прежде всего, это проявлялось во внешнем виде: выношенная и завершенная идея государственности, олицетворенная четкостью и математической выверенностью городских

дии) // Тынянов Ю. Литературная эволюция. Избранные труды. М., 2002. С. 300—339 и др.

интерьеров, неожиданно сочеталась с неясностью, даже иллюзорностью возможных воплощений конечных целей.⁶⁰ Поэтому неудивительно, что детище Петра воздействовало на обоих писателей по-разному, но одинаково сильно, нервно и странно.

Гоголь воспринял город как средоточие страха, уныния, серости, душевной угнетенности — от «черных» лестниц позади величественных парадных фасадов и закопченных стен домов до гнилой погоды и отсутствия летних ночей.⁶¹ Последнее особенно выводило его из равновесия: он не оценил роскоши и великолепия хрустальных северных ночей, лишь видел невозможность укрыться от беззащитной распахнутости городских интерьеров, насквозь просматриваемых, как будто *простреливаемых* улиц и площадей. Гоголю не хватало уютной бархатистой черноты и теплоты южных украинских летних ночей, куда можно было спрятаться *по собственной воле*. Это оконченное и замкнутое «домашнее» пространство воспринималось им как однородное, в котором все действия были предсказуемы и оттого безопасны. Эта тоска по предсказуемости и понятности «малой родины» вылилась в своеобразный «плач» на страницах «Вечеров...». Очумевшее же от собственной безграничности (пребывавшее у нее в плена) петербургское пространство воспринималось Гоголем чуть ли не как источник колдовства. И правда, нет ничего более скрытого и коварного, чем то, что невинно лежит перед глазами. Бесконечный мир неоднороден; в одном и том же месте может находиться не один, а несколько автономных миров, не ведающих друг о друге и путающих сознание. А все потому, что в бесконечности прокладываются бесконечные

⁶⁰ Так же неожиданно точка «перелома» стрелы Невского проспекта перестает быть неожиданностью или случайной ошибкой плана.

⁶¹ Гоголь был далеко не первым, кто увидел и очень болезненно переживал депрессивный облик северной столицы. С момента основания города до времени приезда писателя в Петербург сформировалась целая традиция его острокризма, продолжающаяся до сегодняшнего дня (см.: Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы: Избранные труды. СПб, 2003). Но среди множества писателей только Гоголь и Достоевский восприняли город как основание собственной художественной картины мира. Первый, правда, снискал, наряду с восхищением, также непонимание и даже откровенную неприязнь многих неординарных и глубоких мыслителей (об этом см. подробно: Ерофеев В. Розанов против Гоголя // http://lib.ru/EROFEEW_WI/rozanovprotivgogolya.txt_with-big-pictures.html); взгляды второго, напротив, не вызвали у современников и потомков какого-либо отторжения.

межличностные и вещественные связи, разнообразные формы общения, которые, в конце концов, и создают эту пространственную смысловую многослойность, где господствует случай и мало что задерживается или повторяется.

Так Петербург стал для писателя неистощимым источником чудес, выдумок, каверз и иллюзий, которые легко соседствовали с невероятно реалистическими впечатлениями-репортажами. Оттуда, из северной столицы, все виделось иным, все меняло привычный облик. Даже родная Украина.⁶² Можно безоговорочно согласиться с более поздним мнением В. Г. Белинского о том, что все это отнюдь не случайно: «...Питер имеет *необыкновенное свойство оскорбить в человеке всё святое и заставить в нем выйти наружу всё сокровенное*. Только в Питере человек может узнать себя — человек он, получеловек или скотина; если будет *страдать* в нем — человек; если Питер полюбится ему — будет или богат, или действительным статским советником».⁶³ Примечательно, что Белинский не вполне традиционно трактовал «сокровенное», полагая, что оно может быть не только возвышенным и нравственным, но и презренным и пошлым, и кощунственным, о чем сам Гоголь заявил во всеуслышание. А потому неизвестно, кем бы был Николай Васильевич, не прибудь он в Петербург. Возможно, и стал бы лирическим, сентиментальным писателем или даже поэтом, а то и заметным журналистом. Одно безусловно: не было бы в нем этой неуемной жажды риска, азарта игры со злом, словесной эквилибристики на грани реальности и фикции. Не высушил бы ему душу северный город, и прожил бы он долго и счастливо, и умер бы в бывестности... Но случилось так, что «Петербург разбил Гоголя; и он уцепился за иронию, как за средство самозащиты; доминирует же не смех, а страх: „Не верьте Невскому“; самый смех здесь — выражение ужаса (...). Гоголь бегал два раза из „северной столицы нашего обширного государства“: в Гамбург и в Рим; позднее признался он, что забавные сцены им выдуманы для излечения от приступов непонятной тоски (...) смех — эхо из-за него вы-

⁶² Применение Гоголем принципа бесконечности пространства по отношению к Украине привело к созданию своевольной картины Запорожской Сечи, открытость которой трансформирована в опустошённость, коммуникативность — в суетливость, хаос и разбой.

⁶³ Белинский В. Г. Письмо В. П. Боткину, 2 ноября 1839 г. // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. XI: Письма, 1829—1840. С. 418.

глядывающих неприятностей: „в собственном эхе слышит... грусть и пустынно, и дико внемлет“.⁶⁴

Словом, не было у Гоголя «иммунитета» на Петербург, беззащитен он был перед тяжеловесной харизмой северной столицы. И, в общем, понятно почему. Этот город как воплощенный (сверх) личностный замысел демонстрировал чуждую подавляющему большинству россиян земную предприимчивость, светскую волю, трезвое движение мысли, беспощадный рационализм.⁶⁵ Несспешная славянская душа, попадая на эти берега, чувствовала, что ее отвле-кают от созерцания, лишают благочестивого смирения и толкают на безумные по своей дерзости поступки, соблазняя прижизненно обретаемой вечностью. Большинство воспринимало это как взы-вание города к греховым сторонам человеческой сущности. Прежде всего к тщеславию. Но, возможно, все было совсем не так, и это были просто муки больной народной совести перед прошлым и на-стоящим и перед покойным императором, который не жалел себя, тщась научить соотечественников мыслить и действовать по-госу-дарственному... Как бы то ни было, угроза, которую нес этот город для многих россиян, была спровоцирована ими самими и состояла в намеренном «нарушении законов природы, здравого смысла, че-ловеческой жизни, говоря в общем — справедливости, какой она выступает на природном и социальном уровне»,⁶⁶ в результате чего прочно укоренялась идея безосновности Петербурга, в котором можно было жить, только опираясь на принцип *Ничто*,⁶⁷ на аван-туризм. Поэтому «здесь всё похоже на правду, всё может статься с человеком».⁶⁸

Вот почему, когда говорили, что в Петербурге пропадает чув-ство действительности, в какой-то мере это так и было: на этих берегах открывалась иная сторона сущности вечности — как бес-

⁶⁴ Белый Андрей. Мастерство Гоголя. С. 186.

⁶⁵ Это отражено, например, в описании «раннего делового петербург- ского утра» у Достоевского (см.: Достоевский Ф. М. Подросток // До-стоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1975. Т. 13. С. 112).

⁶⁶ Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы. С. 47.

⁶⁷ См.: Там же. С. 48.

⁶⁸ Гоголь Н. В. Мертвые души // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и пи-сем: В 17 т. Т. 5. М.; Киев, 2009. С. 124. Заметим: именно «похоже», а не «является» правдой. Здесь не просто подмена одного закона другим, а вытеснение самого принципа законности происходящего чудовищным сочетанием реальности и чуда.

конечное мистическое зависание на грани жизни и гибели, бесконечный процесс исчезновения земли под морем. В этом «городе без истории» человек освобождался от уз прошлого, воочию воспринимая возможность преодоления времени собственными силами через свершение конкретных «славных дел». Но, переставая быть хранимым прошлым, незаметно для себя подпадал в кабалу долга перед настоящим, перед городом. Что и произошло с Гоголем: Петербург открыл ему глубины собственного таланта, да так, что он пожелал «умереть для счастья, чтобы родиться для творчества».⁶⁹ Желал отплатить городу преданной службой, душевной кабалой.

Поэтому, вырвавшись за пределы традиционного мира своего детства, где господствовали спокойствие и скука, Гоголь не нашел удовлетворения. Он оказался не готов к восприятию петербургской действительности, был раз и навсегда поражен, сражен ею, потому и столь надрывно, разительно показывал «всю русскую жуть»⁷⁰ как таковую: его творчество — панегирик питерской каверзной «чертовщине». В его произведениях «мертвые» души — вполне реальные персонажи наравне с живыми, направляющие поступки живых. Но чрезмерность этого осознания и последующие представления «живого ада» сыграли с ним злую шутку: он создал «свой» Петербург, и потому тот воспринимается настолько неадекватно, что нельзя спокойно реагировать. Гоголь заметил и понял полисемантичность петербургского пространства, но полагал, что единой авторской позиции достаточно для отражения и раскрытия ее, и последующие отличные читательские размышления излишни. Поэтому оказался уязвимым не только перед городом, но и перед его жителями как своими потенциальными читателями и критиками.

А у Достоевского такой «иммунитет» был — то ли случайно, то ли, как у русского, по праву рождения (что, в общем, одно и то же). Потому он не боялся тяжелых «прививок» белыми ночами, испытывая лишь упоительное состояние головокружения от роящихся в голове идей. В отличие от Гоголя, он не слишком раздумывал над тем, что за пространство его окружает, не вводил город в текст намеренно в качестве героя; скорее, свой собственный текст размещал в контексте столицы, запечатлевая собствен-

⁶⁹ Федотов Г. П. Три столицы // Федотов Г. П. Судьба и грехи России: В 2 т. СПб., 1992. Т. 1. С. 52.

⁷⁰ См.: Гарин И. И. Загадочный Гоголь. С. 581.

ную мысль на ее «фоне». Поэтому можно сказать, что Петербург стал проявлением некой *естественной*, чуть ли не *физиологической*, «функций» писателя, а вовсе не следствием напряженной и выстраданной мыслительной работы: «Он рожден, а не сотворен. Все впечатления петербургской жизни, порожденные пейзажем города (...) наславались одно на другое, перерабатывались в горниле бессознательного и нашли свое воплощение в рожденном гением образе».⁷¹ Может быть, поэтому облик Петербурга у Достоевского лишен завуалированности, интриги, загадочности, он весь — сплошная недосказанность при полном, однако, отсутствии чудесного. Такое возможно лишь потому, что внешне однозначные, предельно обыденные фабулы произведений Достоевского скрывают под собой бездну смыслов, выбор которых всецело предоставленся читателю. Автор лишь кладет перед ним текст, завершить который читатель может по своему вкусу.⁷² Достоевского, судя по всему, сложно было чем-либо всерьез удивить. Он всегда был готов к тому, что одни и те же ситуации в тексте и жизни будут с бесконечным разнообразием интерпретироваться бесконечным количеством людей, что окончательной оценки нет и быть не может. А потому нет смысла судить, в особенности там, где, казалось бы, все и так ясно. Вот почему Федор Михайлович, в отличие от Гоголя, отнесся к столичной жизни как обыденности, изобразив ее отчасти бесстрастно, отчасти сентиментально. Но без личного ужаса. «Жуть» в произведениях Достоевского вовсе не в искаженной субъективной образности, а в том, какое впечатление производит на читателей его писательская манера. В бессознательном отождествлении в момент восприятия дворцов и трущоб, взаимном обезличивании добра и зла, взаимном обесценивании возвышенного и низменного. У Федора Михайловича в детстве был свой «личный ад», и, похоже, с возрастом он сжался с этим состоянием. Что уж говорить о сомнительных искусах Петербурга! Поэтому он как писатель столь «психологичен», дискретен в восприятии, отчего эмоциональная мощь его мысли кажется глупе, чем на самом деле. В отличие от него, Гоголь как творческая личность — стихиен, рационально не упорядочен, чувственно-ин-

⁷¹ Анциферов Н. П. Петербург Достоевского // Анциферов Н. П. «Непостижимый город...» Л., 1991. С. 185.

⁷² Подтверждением этому стал действительно незавершенный роман «Братья Карамазовы».

тутитивен, и поэтому его произведения чрезмерно экспрессивны по отношению к читателю.

* * *

Петербург не только лишил обоих писателей покоя и вкуса к обыденной жизни, но и представил их на суд читающей публики не такими, какими они были в действительности. Первая же работа Гоголя петербургского периода — «Вечер накануне Ивана Купала», — в которой появилась тема нечистой силы и колдовства, вызвала восторженные отклики Пушкина и Баратынского и весьма критические утверждения славянофилов о недосягаемости его мысли для западноевропейского читателя. Первый же роман «Бедные люди» заставил интеллектуальную общественность испытать к автору «почтение неимоверное и страшное любопытство» и «принимать его, как чудо». ⁷³ В романе, правда, не было прямых намеков на чертовщину, тем не менее читатели и критики усматривали сильное сходство автора с Гоголем.

Очевидно, Петербург быстро сумел внушить обоим писателям мысль о том, что этот мир невероятно скучен, и сама мысль об этом побудила их к поискам чудесного, — но не фееричного, а мрачного, колдовского. Из этого мира не просто хочется уехать в другое место, а покинуть его навсегда, как *мир* — перейти в некое противоположное состояние *тревоги, мятежа*. Словом, всего того, что никак не добавляет жизни. Однако и жизнь вне жизни не имеет смысла, ибо душа человека оказывается мертва. Кто этого не признаёт, тот пошляк. Кто признаёт, тому сам черт не брат. Вот и получается, что умному человеку нет выхода — только писать да немедля сжигать написанное. Грешить и каяться.

Из всего этого мировоззренческого разброда и проявился, в конце концов, образ черта.

Когда пытаются понять трактовку черта Гоголем, обычно призывают в свидетели самого писателя: «Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара — выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе

⁷³ См.: Достоевский Ф. М. Письмо М. М. Достоевскому, 16 ноября 1845 г. // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1983. Т. 28, кн. 1. С. 115.

пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее, и которого точно нет у других писателей».⁷⁴ Отсюда, как правило, делают вывод о *критически-обличающем* и, значит, трагическом характере творчества Гоголя, о его свободной гражданственности и проч. И, несомненно, так оно и есть. Но этим Гоголь как писатель, безусловно, не исчерпывается. Ограничиться он критикой, его творчество было бы... пошло.

Причин видеть в приведенном выше высказывании Гоголя основание для образа черта по крайней мере две. Хотя обе странные, — скорее, следствия, а не причины. Первая — позднейшее представление Достоевского о черте как воплощении пошлости.⁷⁵ Вторая — мнения некоторых весьма уважаемых исследователей-критиков. В частности, Д. С. Мережковского.⁷⁶ Однако имеются и не менее веские причины для возражений. Во-первых, в приведенном высказывании Гоголя идет речь вовсе не о черте как персонаже фольклора или мифологии, а об отношении к вполне реальному и понятному, хотя и отталкивающему социальному явлению. Во-вторых, Гоголь полностью передал слово Пушкину — не он сам о себе так судил, а «Пушкин так о нем сказал», и непонятно, знал ли Николай Васильевич о себе это раньше или Пушкин открыл в нем то, о чем он и не догадывался или разве что на это надеялся. Двоякое впечатление от этого высказывания: Гоголь как будто не ведал, что творил, и всецело доверялся чутью Пушкина, принимая любые его мнения. Но соглашался с ним, потому что любил его или потому что тот был прав? Что здесь на первом месте — действительная правота авторитета или только согласие с ним?.. И, наконец, последний контраргумент: пошлость активна своей пассивностью, косностью отрицает всякую возможность творчества; образ же черта у Гоголя — наиболее загадочный и потому, по-видимому, один из главных и весьма успешных приемов его творчества, своеобразная «волшебная палочка», с помощью ко-

⁷⁴ Гоголь Н. В. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ» // Гоголь. Т. 8. С. 292.

⁷⁵ См.: Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1976. Т. 15. С. 81.

⁷⁶ См.: Мережковский Д. С. Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт: Исследование; Итальянские новеллы. М., 2010. С. 179.

торой он к тому же давал возможность россиянам посмотреть на себя с неожиданной стороны.

С Мережковским можно согласиться в том, что «Гоголь сделал для нравственных измерений то же, что Лейбниц для математики, — открыл как бы дифференциальное исчисление, бесконечно великое значение бесконечно малых величин добра и зла. Первый он понял, что черт и есть самое малое, которое, лишь вследствие нашей собственной малости, кажется великим, — самое слабое, которое, лишь вследствие нашей собственной слабости, кажется сильным. „Я называю вещи, — говорит он, — прямо по имени“, „то есть черта называю прямо чертом, не даю ему великолепного костюма à la Байрон и знаю, что он ходит во фраке...“ „Диавол выступил уже без маски в мир: он явился в своем собственном виде“. Главная сила диавола — умение казаться не тем, что он есть (курсив мой. — М. С.). Будучи серединой, он кажется одним из двух концов — бесконечностей мира, то Сыном-Плотью, восставшим на Отца и Духа, то Отцом и Духом, восставшим на Сына-Плоть; будучи тварью, он кажется творцом; будучи темным, кажется Денницею; будучи косным, кажется крылатым; будучи смешным, кажется смеющимся; смех Мефистофеля, гордость Каина, сила Прометея, мудрость Люцифера, свобода Сверхчеловека — вот различные в веках и народах „великолепные костюмы“, маски этого вечного подражателя, приживальщика, обезьяны Бога».⁷⁷ Иными словами, черт в трактовке Гоголя — воплощение абсолютного случая, то есть с позиции восприятия субъекта однородного и познаваемого мира — полнейшее недоразумение, абсурд (чертовщина). Но оказывается, что именно он и только он наделен творческими способностями — фантазией, выдумкой, изобретательностью, мобильностью, жаждой познания и жизни — всем тем, что в целом отсутствует в однородном и замкнутом мире, делая его пошлым. Поскольку же он «черт» по определению, то своими чрезвычайными способностями не помогает, а парализует этот мир, подчиняет его себе; локализуя, концентрируя в себе мировую пошłość, он освобождает от нее обитателей этого мира. Так сказать, отпускает им грехи. Но при этом лишает их последних способностей как-то реализоваться в жизни, самое жизнь лишает смысла, поскольку смысл воплощался в пошлости. Прозорливость, наступающая в момент душевного очищения, не становится для че-

⁷⁷ Мережковский Д. С. Гоголь и черт. С. 180.

ловека выходом, напротив, заводит в тупик и вырывается криком отчаянья: «Над кем смеетесь?!»

Именно такова идея «Ревизора». Хлестаков и есть типичное проявление черта — весь такой непоседливый, манерный, ужимистый; сплошная бесформенность и кажимость. И при этом очень реален — типичный средний, заурядный петербуржец, совершенно не заметный на просторах северной столицы. Только попав в традиционную провинцию, как в вакуум, начал раздуваться в глазах тамошних обитателей до размеров «сверхчеловека». И не важно, что болтовня о связях с Загоскиным и Пушкиным — сплошная ложь; она вызвана железной необходимостью чуда и, значит, — уже истина. Именно этим Хлестаков весьма притягателен. Он завораживает своими бессмысленными разговорами и не просто заговаривает зубы пустой болтовней, — в этой болтовне есть своя поэзия, забавные повороты мысли. Своя гармония и своя загадка! Он пуст, но не глуп, в отличие от окружающих, чья жизнь переполнена всякой глубокомысленной бытовой всячиной. И в этом заключен любопытный парадокс: при всей демонстративной понятности Хлестакова (плут, врун, бездельник, волокита, невежда и проч.), к нему нельзя относиться последовательно и логично, потому что в каждый конкретный момент он непредсказуем. Он — карикатура, а карикатура не бывает примитивной или банальной, ведь она — объективный способ передачи сути пошлости. При этом она не бывает и последовательной, — таков уж объект ее осмеяния; она — синтез творчества и его отрицания. И эта сложность возвышает Хлестакова как персонаж до уровня героя, поскольку бесконечная суетливость является определённой формой выражения его страданья: Хлестаков уязвим именно тем, что делает его сильным в глазах окружающих. Потому что ложь его — не просто бред глупца, а «имеет нечто общее с творческим вымыслом художника. (...) То, чего нет, для него, как для всякого художника, прекраснее и потому правдивее самой правды. Он весь горит и трепещет, как бы от священного восторга. Тут какая-то нега, сладострастие лжи».⁷⁸ Он лжет с горячим сердцем — чистосердечно, как признавался Гоголь. И эта его невероятная способность дает основание для идейной и художественной форм продолжения и подражания. Недаром Достоевский вложил, между прочим, в уста своего черта и слова Хлестакова: «...я ведь тоже разные водевильчики».

⁷⁸ Там же. С. 181.

В этом смысле Хлестаков, в силу своей подмененности, случайности, — один из главнейших, фундаментальных и загадочнейших персонажей Гоголя. Хлестаков действительно не «будто бы чужой» в этом провинциальном мирке, а «подлинно чужой». Гоголь определил это предельно однозначно: «без царя в голове». Он заброшен сюда не из другой, похожей, провинции (в этом случае его ни за что не «перепутали»), а из «самого» Петербурга, поэтому и кажется не таким, как на самом деле. В свое время для Гоголя как начинающего писателя, приехавшего «с юга», стало настоящим открытием и потрясением ощущение мощи абсолютной случайности в бесконечности петербургского пространства. Потому-то Николай Васильевич и забрасывал Хлестакова в это стоячее мещанское болото, чтобы испытать истинное удовольствие, видя, как оно взбаламутится и, возможно, преобразуется.

Однако вряд ли Гоголь в силах был бы это вообразить и тем более пережить, если бы осколок «чертовщины» не сидел в нем самом. Он как мыслитель представлял собой тот редкостный случай одновременного нахождения телом и душой в разных местах — в локальном однородном мирке и за его пределами — в Петербурге, куда стремился своей волею и против своей воли. Как кузнец Вакула. И потому всю жизнь охотился за чертом, боролся с ним, смеялся над ним. Ведь черт — хоть и воплощенное творчество, но недобroe, коварное, неупорядоченное, по-детски жестокое: «Перерожденный в чиновника „чорт“ побеждает и черта, и художника».⁷⁹ И только человек, отчасти близкий ему, понимающий, что носит в себе извечный соблазн постоянного неконтролируемого перерождения во что-то иное, способен довести его до совершенства, тем самым отчасти подчинив себе.

Откуда же эта близость соблазну? Очевидно, своей жизнью Гоголь не успел ответить на этот вопрос, лишь поставил его. Ответ появился позднее. Андрей Белый совершенно справедливо заметил, что «„прошлое“ Гоголя становится в Достоевском близким будущим».⁸⁰ Над этим стоит задуматься. Для Гоголя все страшное, неприятное и отталкивающее в жизни так или иначе берет начало из фольклорной среды, из прошлого, из детских страхов; поэтому оно еще и чудесно, неизведанно и непостижимо. Одним словом, пугающе-привлекательно, как сказка. И потому же «смехо-творно».

⁷⁹ Белый Андрей. Мастерство Гоголя. С. 186.

⁸⁰ Там же. С. 290.

Смехом наполнена вся жизнь, потому что в ней, в представлении Гоголя, нет ничего изначально прекрасного, кроме писательского, художественного слова. Сама по себе жизнь если не прямо ужасна, то, по крайней мере, жалка. Смех — единственное адекватное к ней отношение. Он не только снижает чувство страха и посрамляет ужасное, но, претворяясь в слове, превращает ужасное в забавное и оборачивает к читателю его другую сторону — противоположность, прекрасное. Поэтому «смехо-творность» Гоголя становится своего рода «смехо-тварностью» — спасающим, творящим красоту мира заливисто-соловьиным отношением «бедного-бедного» автора. Этот смех не физиологичен, не инстинктивен, не извне вытолкнут, но осознан, умен, даже как-то расчетливо pragматичен. Для Гоголя смех — не вынужденная реакция отчаявшегося в жизни, а сам образ жизни, естественная форма жизни, в пределах которой примиряются между собой страхи и радости. Только так они и могут переживаться и быть по-настоящему осмыслившими и оцененными. Тем самым Гоголь воплощал в образе черта осознанное, рационалистическое отношение к страшному как более всего достойному осмейния. Его вопль «Соотечественники! Страшно!» не столь сильно берет за душу, как изящно-шутливые картинки из жизни фольклорного черта.

Но бессознательное постоянно примешивалось к его творчеству и всё выворачивало наизнанку: вместо осмевшего ужаса все чаще присутствовал ужасающий хохот; осмение черта оборачивалось смехом самого черта то ли над самим собой, то ли над окружающим. Достоевский позднее подхватил и развел именно этот бессознательный мотив, сделав его центром собственных размышлений: «черный юмор», юмор черта стал следствием страха, доминирующего над смешным и выросшим из глубин этого смешного. Возможно, одной из причин стало то обстоятельство, что для писателя не состоялось чудесной легкости и тихой грусти ушедшего навсегда в прошлое детства. Не было ни случая, ни необходимости: разумеется, он тоже покинул родовое гнездо, как Гоголь, и тоже чувствовал различия в образах жизни двух столиц; однако в душе не чувствовал какой-либо пространственной привязанности или обусловленности. Он всю жизнь находился в состоянии «блуждания» — мыслей, поступков, отношений. И такими же не-прикаянными были почти все его герои. Поэтому Федор Михайлович остался до конца жизни закомплексованным «подростком», «взрослым вундеркиндом», не испытавшим полноценного цвете-

ния надежд, планов, идей, а увядшим прежде дозревания плодом, вечным недорослем, воспринимавшим все слишком серьезно или же пытавшимся шутить, где не пристало. По разным причинам он не смог избавиться от детских страхов, не смог примирить их со взрослыми радостями. Поэтому окружающий его мир не смог обрести форму в его представлениях, медленно пожираемый изнутри рационально воспринимаемым ужасом всех без исключения сторон общественной и индивидуальной жизни. Тихим, сдержанным, стоическим ужасом, ставшим для писателя единственной формой действительности, ужасом, обретавшим голос, увеличивающимся, чем яснее и понятнее он становился. Гоголь — классик в отношении к собственным страхам: он верил, что стоит только высказать к ним какое-то осознанное отношение, и они станут для него лишь представлениями; стоит только им обрадоваться, и они провалятся в прорву увлекательных литературных сюжетов. Достоевский и тут был большой оригинал: чем дольше осмеиваешь и обдумываешь страх или размышляешь над его причинами, тем он сильнее, омерзительнее и непонятнее. Потому что смех не может применяться к возвышенным, достойным уважения, рациональным, глубоким по смыслу и внешне привлекательным вещам. По крайней мере, именно такое впечатление остается после прочтения сцены кошмара Ивана Карамазова.

Решусь утверждать, что Достоевский в момент создания сцены «кошмара» мыслил так, как мыслил бы Гоголь, не сжегший второй том «Мертвых душ» и не близкий к помешательству незадолго до смерти. Ведь Гоголь потому и отстаивал идею «борьбы с чертом», что представлял последнего «узурпатором» высших жизненных творческих ценностей, не дающим «нормальному» человеку познать и применять собственные способности. Только победив его, можно увидеть глубокий смысл от простых радостей жизни и не искать чрезмерных раздражителей для души, успокоиться. Но Достоевский показал, что черт не виноват, — он и есть воплощенная скука, пошлость, подлинный козел отпущения, на которого человек (если не глуп) перекладывает собственную ответственность. Он потому и не страшен, что по-настоящему страшны те, кто его малют, отвлекая внимание от истинного зла, кто выставляет его вместо себя как воплощенных субъектов зла. Поэтому устами Достоевского черт называл себя «пошляком». Ему хуже всех. Его пошлость не во внешнем неряшливом виде, не в полуприличных сплетнях-разговорчиках, не в желании кощунствовать, а именно в том, что

только в таком продуманно отталкивающем виде он достоин настоящей веры в себя. Вера как форма отношения сама оказывается пошлостью, о чем сам писатель устами черта и говорит: «Это в бога говорю, в наш век ретроградно верить, а ведь я черт, в меня можно».⁸¹ Иными словами, по мысли Достоевского, наименее сильная, воистину безусловная вера направлена не на возвышенное, а на низменное, только так она несомненна. Ведь она — чувство, она внерациональна и тем самым с необходимостью должна профанировать то, на что направлена. Бога боятся и взирают на него издали, а к черту идут на поклон — как к шуту за весельем. От него не требуют чудес: «...живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было всё благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... всё же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие — всё обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато».⁸²

⁸¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 76.

⁸² Там же. С. 77.